

РУДОЛЬФ

Мы жили тогда в большом сибирском городе. Я хорошо помню первые годы после войны; жизнь взрослых понемногу устраивается, а для меня она только начинается. Мне пять лет. Всё как-то странно. Мои родители работают в большом оперном театре, это замечательный сказочный мир, который удивляет меня музыкой и фантастическими превращениями. В школу я еще не хожу. Живем мы тоже в странной обстановке – на последнем верхнем этаже большой и красивой гостиницы. Весь этаж отдан певцам, танцовщикам, музыкантам – временно, потому что ремонтируется театральный дом, где мы опять будем жить все вместе. Это очень хорошо – не потерять друзей. Мы, дети актеров, очень дружим. У нас свой одинаково

понятный нам мир – мир, в котором большое место занимает искусство. Многие из нас уже «работают» в оперном театре. Те, что помладше, мальчики и девочки лет 3-4-х, играют сына мадам Баттерфляй, а 10-12-летние девочки играют уже роль посложнее, со словами – маленькой коварной Русалочки из оперы Даргомыжского «Русалка». В день, а вернее в вечер, когда маленькая артистка или актер заняты в опере, их наряжают и уводят с собой родители гораздо раньше начала спектакля – певцы, музыканты, гримеры, парикмахеры, балерины и их партнёры – все-все-все приходят задолго до того, как выйти на сцену.

Я видела, как одну мою младшую подругу готовили к выступлению: загримировали, надели на её черненькие волосы русый кудрявый паричок, а затем дали ей беленькие странные носочки с

одним большим пальцем, как у перчатки, и красивое шелковое маленькое кимоно. Она сразу стала неузнаваема. И как бы чужая. Придя домой, я рассказывала обо всём этом взахлёб, потому что видела в первый раз.

– Подумаешь, я целых два года играл в «Чио-сан» пока не вырос, мне и парик надевать было не надо... – сказал в ответ на мои восторги Рудик, светловолосый мальчик шести лет.

В разговорах взрослых я слышала, что его папа и мама были поляки-ссылные. Что это значит, я понимала по-своему, мой папа тоже был ссылкой, но об этом ни с кем нельзя было говорить.

Потом я узнала, что в театре работали многие, сосланные в сталинское время. Их провинности были различны. Мой папа, например, оказался в Сибири за то, что был из семьи «буржуев и белых офицеров». Много лет спустя я увидела их фотографии: достойные и сдержанные дамы в старинных платьях и шляпах и мужчины в мундирах с эполетами и странными шнурами-аксельбантами, с пристегнутыми шпагами на боку. Папин друг Лев Карлович оказался в Сибири за то, что был родившимся в России немцем, другой его друг, веселый шутник Федя-тромбонист, – за анекдот. Что такого сделали поляки, я не знала, но Рудик мне очень нравился. Даже само его имя – Рудольф – выделяло его из всех. У нас было два Вовы, две Иры, целых три Лены, но Рудольфа я долго не встречала ни одного. А лицо! У него было ни на кого из окружающих детей не похожее лицо. Не было круглых пухлых щек. Глаза серые с темными ресницами, а рот прорезан длинно, почти без верхней губы и с четкой очерченной нижней. Но всего интереснее был его нос. Я как-то слышала разговор соседки с мужем, сидевших около нас в скверике и наблюдавших за нашей игрой:

– У Рудольфа польское лицо.

– Да, очень стильное. У него нос будет, как у Шопена.

Я знала, что Шопен композитор, но какой у него нос? Мне нос Рудика казался в точности похожим на носы тех святых на иконах, что я видела в доме моей бабушки, у которой гостила каждое лето.

А как интересно было с ним играть! Он никогда не ныл, как Светка, ни на кого не ябедничал, строил самые красивые снеговики, лучше всех прыгал в классики и бил мячом в «вышибалы». А как он мог рассмешить, когда по условиям игры смеяться было нельзя! Ну ничего не делает, только молча уставится своими внимательными глазами, а в них смешинки так и бегают! Всем вместе

нам было очень весело, это было время, когда никто не боялся отпускать нас из дома без присмотра. С ребятами чуть постарше мы беспрепятственно бегали, где хотели, и если не играли где-нибудь на этаже в просторных гостиничных холлах, то нас можно было найти или на городском сквере, или в лабиринте дворов, где мы по стрелкам и другим знакам, нарисованным на асфальте и стенах, упорно искали очередной «Клад» или «Военную тайну» наших «противников». А потом, когда усталые и перепачканные мы возвращались к родителям, начинались если и не нотации, то, во всяком случае, мытье. В старой, хотя и красивой гостинице еще не было ванной или хотя бы душа в каждом номере, только водопровод и умывальник, причем, без горячей воды. Вот в этих-то умывальниках, подогрев на электрической плитке воду, нас и отмывали, и наши вопли частенько оглашали коридоры этажа. Но была на этаже и настоящая ванная комната. Одна на весь этаж. С ванной, душем и маленькой раздевалкой перед ними. Жильцы мылись здесь, записываясь в очередь у дежурной по этажу. Каждому отводился час. Поэтому, когда я мылась с мамой, мама меня поторопливала, чтобы успеть вымыть и себя и меня. А в предбаннике-раздевалке, удобно отделенной, для уже одевающихся, перегородкой, своей очереди ждала следующая семья, часто с детьми, дополнительными тазиками, полотенцами и мочалками. Прийти после мытья – распаренной, с полотенцем на мокрой голове – и напиток вкусного чаю с сушеными ягодами было такое блаженство! Особенно, когда из окна пятого этажа можно было наблюдать заснеженную улицу, освещенную желтым фонарным светом, и прохожих, под пушистым снегопадом.

Вот так однажды после замечательного мытья я каким-то образом простудилась и пролежала с ангиной целую неделю в постели. Друзья меня не навещали, т.к. моя ангина была объявлена заразной. Было очень скучно. А чтобы я не нарушала постельного режима и, не дай Бог, не выбежала в коридор, родители, уходя на работу в театр, запирали меня на ключ и сдавали его дежурной по этажу.

Но всё кончается, кончилась и моя ангина, и в первый же день, когда мне, наконец-то, разрешили выходить, я утром, проводив родителей на репетицию, открыла дверь нашего номера и выснулась в коридор. К моему удивлению, прямо напротив нашей двери в холле в больших креслах, покрытых белыми чехлами, одиноко сидел Рудик и пере-

ставлял маленькие кубики в коробочке «Игры 15». Я очень любила эту игру, где в коробочке на 16 кубиков один специально отсутствовал, чтобы можно было двигать другие, стараясь поставить их в точной последовательности.

– А, ты вышла, – обрадовался Рудик, увидев меня. – Мне твоя мама сказала, что ты выздоровела.

– А где все?

– А все ушли на генеральную репетицию «Спящей», тетя Лена танцует первый раз.

– А ты?

– А я тебя ждал. – он закрыл коробочку и поднялся с кресла. – Мне тебя спросить надо..., только это секрет.

При слове «секрет», мы оба одновременно посмотрели вдоль коридора, туда, где напротив лестницы был стол дежурной.

– Ну, если секрет, то лучше давай пойдем к нам.

И мы пошли в наш номер. Рудик отошел далеко к окну.

– Знаешь, как я тебя жалел, когда ты заболела! – сказал он и помолчал. Потом вдруг серьезно взглянул на меня. – Я видел... – я случайно, из-за двери раздевалки, – как мама тебя купала. Ты была такая красивая!

Я слушала удивленно, а он продолжал:

– Знаешь, когда я вырасту, я хотел бы на тебе жениться. А ты? А ты хочешь на мне жениться?

Я не знала, что ответить. Жениться! Я никогда об этом не думала.

– А, так ведь ты меня-то не видела еще, – спохватился вдруг Рудик. – Ну вот...

И он быстро снял через голову полозатый свитерок вместе с белой маечкой, а потом и брючки. Он стоял передо мной в сереньких носочках, такой худенький и светлокожий, с выступающими ребрышками, и очень серьезно смотрел мне прямо в глаза:

– Ну как? Нравлюсь я тебе? Я красивый?

Он был самый лучший мой друг. И ничего еще не понимая в мужской красоте, я твердо сказала:

– Самый красивый...

– Тогда мы женимся – когда будем большими, конечно!

И мне стало вдруг так весело, потому что я поняла, что Рудик будет со мной всегда-всегда. А он, прижимая к груди свои вещи, подошел поближе и сказал, улыбаясь:

– Теперь мы жених и невеста. Настоящие. Но это большая тайна.

Я знала, что это тайна, потому что ни

за что не могла бы позволить ребятам дразнить нас «Жених и невеста поехали по тесто...» Тут было что-то такое, что должно было знать только мы одни.

– А разрешили тебе сегодня гулять? – спросил Рудик, снова одевшись. – Пойдем в сквер?

Сквером мы называли бульвар, бесконечно тянувшийся вдоль главной улицы города у нас под окнами. Я сняла с гвоздика ключ, заперла дверь и, отдав его по дороге дежурной, спустилась с Рудиком в вестибюль.

В просторном вестибюле главным был высокий и важный швейцар дядя Николай. Он носил красивую ливрею, обшитую золотыми галунами, как в старинных операх, но эта красота была не для нашего оперного этажа, а для тех приезжающих, что селились ниже, и для гостей ресторана, дверь в который была тут же, за гардеробом, на первом этаже. Он шутивно раскланялся и распахнул перед нами дверь на улицу:

– Осторожно переходите дорогу! – Поднял он палец кверху и сделал страшное лицо.

А чего осторожно-то? Машины в то послевоенное время ходили редко-редко – вся техника была когда-то отправлена на фронт, и до сих пор не видно было, чтобы на улицах что-то прибавилось. Родители говорили нам: «Если видишь машину, стой и жди, пока она проедет». Мы были дисциплинированные дети: стояли и ждали, пока далеко-далеко идущая машина приблизится и минует нас. Чаще всего потом дорога в обе стороны была совершенно пуста, и можно было пересекать улицу.

Мы перебежали на бульвар. Идти по его аллее, взявшись за руки, было так весело! После каждого квартала мы перебежали поперечную дорогу и входили на продолжающийся бульвар. И всегда вход и выход с аллеи был украшен двумя большими белыми вазами с посаженными в них красивыми цветами. Перед большой площадью бульвар прервался и Рудик сказал:

– Смотри, какая машина.

И мы побежали к большому красивому зданию, на котором огромными буквами было написано ОБЛИСПОЛКОМ. Там у тротуара стояла черная широкая легковая машина.

– Это Эмка, – пояснил Рудик.

И мы немного постояли, рассматривая блестящие стекла и широкие подножки. А потом в машину сел человек в кожаной куртке, как у одного знакомого летчика, и Эмка уехала.

– Знаешь, – сказала я. – Я боюсь, что мама с папой придут раньше и будут меня искать.

И мы повернули домой, но все равно на душе было так радостно, как в 1 Мая.

* * *

С этого дня в моей жизни началась особая пора. Это трудно объяснить. Внешне, казалось, ничего не изменилось. Мы попрежнему играли все вместе, никто не знал о нашей тайне. Но она была. И всегда чувствовалась мною и Рудиком. Иногда, если нам приходилось долго томиться в очереди вместе с родителями, потому что товар отпускался «в одни – конкретные – руки», он брал меня за руку, и становилось легче – я понимала, что ему хочется меня подбодрить. Мне нравилось сидеть рядом с ним в оперном партере, когда родители почему-либо приводили нас с собой на какой-нибудь спектакль. Тогда, придя с ними как всегда пораньше, мы вдвоём гуляли по пустым еще фойе. Знакомая билетёрша всегда давала нам программку бесплатно, и мы усаживались где-нибудь на мягкую бархатную скамеечку-банкетку и читали, кто сегодня занят в балете или опере. Содержание всех спектаклей мы знали и так. В театр мама надевала на Рудика темно-синий пиджачок с золотыми пуговицами и такой же синий галстучек, совсем как у взрослого. Он сидел рядом со мной и мы то и дело брали друг у друга бинокль, который тоже получали от знакомой на контроле. Иногда дома нам давали по рублевой бумажке с кузнецом, гербом и множеством названий «Один рубль» на языках всех республик Советского Союза. Тогда в антракте мы шли в буфет, украшенный люстрами и полный всяких яств. Чаще всего мы покупали по стакану лимонада и два песочных колечка, которые буфетчица клала нам на красивую фарфоровую тарелочку. Я важно шла впереди с этой тарелочкой, а Рудик нес за мной лимонад, чтобы я нечаянно не облила своё платье. Мы усаживались за столик друг против друга обязательно у окна и болтали, глядя вниз на площадь и молодые деревья в аллеях перед театральным входом, до третьего звонка.

С осени нас обоих отдали в музыкальную школу, и так получилось, что к Новогоднему празднику учительница вдруг дала нам с Рудиком играть дуэт в четыре руки. И мы сыграли его на сцене, сидя бок о бок на стульях со специальными подкладками, чтобы мы могли быть повыше к клавиатуре. Когда мы кланялись после исполнения, Рудик прямо на сцене взял меня за руку, и это было так естественно, так делали и тан-

цовщики и певцы на поклонах в нашем театре. Но публика засмеялась на этот его жест, потому что мы были слишком маленькие артисты. Я хорошо помню, как Рудик на этот смех только еще крепче сжал мою руку и я сразу успокоилась, и мы опять поклонились и так и ушли за кулисы, держась за руки. И никто не разгадал нашей тайны.

Мне очень нравилось быть невестой и верилось, что вот такой безмятежной и радостной будет и вся-вся наша с Рудиком жизнь. Так продолжалось до самой весны.

В конце учебного года театр стал собираться на летние гастроли, и как всегда, решено было отправить меня к бабушке, в далекий город, на всё лето. Я любила ездить к бабушке и перед отъездом много рассказывала Рудик о ней. Рудик, которого родители брали с собой во все поездки, должен был быть единственным ребенком в этих утомительных переездах. Слушая меня, он вдруг взял меня за уши и придвинул свой лоб к моему так близко, что вместо двух его серых глаз я увидела один прямо посередине его лба, как у циклопа. Я засмеялась. Но Рудик не засмеялся, а серьезно глядя на меня, сказал только одно слово:

– Приедешь?

– А то..., конечно, приеду, после отпуска вместе с мамой, – ответила я, продолжая смотреть в странный единственный глаз. И уж тогда он засмеялся, а потом мы еще много смеялись и болтали в этот последний вечер, сидя в холле, в больших креслах, покрытых полотняными чехлами.

* * *

Лето моё прошло как всегда в тихом бабушкином доме, с её курами, с работой в огороде под песни, которых знала она множество и которым и меня учила. Были у меня и подружки, которых я знала много лет, но в дружбе с ними всегда как бы ощущалась временность и неизбежность моего скорого отъезда. А потом приехала мама и повезла меня домой.

Поезд пришел в наш город поздно ночью. Я спала и не слышала, как нас встретил папа и как они с мамой везли меня домой на такси по ночному городу.

Когда же я проснулась утром, то удивилась, не поняв, где я нахожусь. Наш шкаф и этажерка, круглый стол и стулья – всё было знакомое, наше, а комната – совсем чужая.

– Ну что, соня, – засмеялась мама, целуя меня. – Нравится тебе наш новый дом? Это тебе сюрприз. Мы уже пере-

ехали. Папа всё устроил здесь к нашему приезду. Правда, красиво?

Правда, всё в нашем новом доме было красиво и аккуратно после капитального ремонта всего здания. Я рассматривала веселый трафарет на стенах, заглядывала на улицу сквозь большое окно с полукруглым верхом. Оказалось, что у нас теперь есть даже большая душевая комната, которой можем пользоваться мы и наши ближайшие соседи по площадке. Но странная тревога не покидала меня. Я вдруг почувствовала себя такой несчастной и одинокой!

– А все переехали? – спросила я маму.

– Почти все, – ответила она, не понимая, куда я клоню.

– А кто да кто? – я старалась говорить с интонацией, как можно более нейтральной.

– Ну..., я не знаю, а кто тебя интересует?

– Ну, – так, вообще....

– Да ты сама узнай, тут, кажется, Света теперь живёт в комнате напротив.

«А Рудик?!» – хотела крикнуть я. Но этого была нельзя. И я побежала к Светке.

От Светки сразу стало известно, что почти все мои друзья уже здесь, закрыты только несколько квартир, потому что там еще что-то не готово. И опять я ничего не спросила о Рудике. Я просто вышла из дому и пошла по знакомой улице к гостинице. Ничего, думала я, можно придумать пока друг к другу в гости, а на улице, как и раньше можно играть вместе, ведь это не важно, кто в каком доме живет.

Меня встретили на пятом этаже веселые крики, все были в номере Вовки, сына дяди Феди-тромбониста. Вовкина мама укладывала вещи, потому что их квартира должна была быть готова к послезавтраму, и угощала всех киселем из большой кастрюли. Рудика среди всех не было. И тут я не выдержала и стараясь не выдать своего нетерпения, как бы между прочим, спросила:

– А Рудик где?

– А он уехал, он уехал! – сразу закричали мне в ответ несколько голосов. – Его родители разрешили переехать из Сибири в Россию, они будут работать в другом театре!

– В каком таком театре, – с испугом, уже не скрываясь, еле вымолвила я. И мне показалось, что в сердце у меня застряло что-то острое. Мне отвечали, что еще не известно, что всё будет решаться в каком-то учреждении в Москве, куда они и поехали. Но я уже плохо слушала. Я точно знаю теперь, по прошествии стольких лет, что того безмятежного, ни

чем не омраченного счастья, которое я знала в тот короткий период, когда мы были «настоящими женихом и невестой» я не испытывала уже никогда.

Между прочим, дети сообщили мне что уехали еще две семьи «тетя Ядя с дядей Стасиком и Томек с папой» (они тоже были поляки. У первых не было детей, а Томек был уже студент и жил со старым отцом, который работал в театре сторожем). В то время информация об отъезде тех других не вызвала у меня никакого интереса. Только много позднее я стала задумываться о том, что отъезд их всех был неспроста. Почему три польские семьи в одно и то же время неожиданно покинули город, во время отпуска, когда большинство окружавших их сотрудников отсутствовали в городе. Что или кто заставил их это сделать? Почему их вызвали в Москву? И вызвали ли? И в Москву ли? И что произошло с ними потом? Очередная ссылка? Реабилитация? Разрешили ли им когда-нибудь вернуться, наконец, в родную Польшу? Но тогда, конечно, ни о чем подобном я не думала. Неожиданная разлука с Рудиком была моим первым большим горем.

Некоторое, довольно долгое, между прочим, время, я ещё ждала, что родители его могут вернуться и привезти его назад. Но этого не случилось. Вместо этого, и моему отцу однажды разрешили переехать из Сибири в Россию, и мы уехали сначала на Урал, а потом на Волгу. В этих переездах я всё ещё надеялась встретить Рудика, но, повзрослев, поняла, что мне его никогда не найти.

Оказалось, что в те детские годы, я как-то не запомнила его фамилии, а мои родители вообще с трудом припомнили, что, кажется, были такие хористы, муж и жена, поляки и, кажется, у них была девочка... «Да нет, мама, нет, девочка была у других. У них был мальчик Рудик! – настаивала я.

– Ну да, я помню Рудика, такой светленький воспитанный мальчик, – отозвался папа. – Но фамилии... Нет, не помню.

Так всё было кончено.

Имя Рудольф навсегда осталось для меня особенным. И после я встретила это имя только дважды. И каждый раз, встретив человека с этим именем, я невольно всматривалась в его черты. Но нет. Один мой знакомый Рудольф, художник из Нижнего Новгорода, был совсем не похож на Рудика, да и родился он на Волге, а другого Рудольфа я встретила, уже живя в Америке. Этот был поэт, ленинградец, очень милый и тоже воспитанный; может быть, он даже и слегка напоминал Рудика тихим светом своих

грустных серо-голубых глаз, но того, моего Рудика я не встретила уже никогда.

Помню, в старших классах, когда мы «проходили» пьесу Горького «На дне», весь класс очень веселился при чтении сцены, как, к стати сказать, и персонажи, в этой сцене участвующие, где одна из героинь, Настя, опустившаяся и несчастная, в отчаянии от неудавшейся, бесцветной жизни сочиняет себе историю романтической трагической любви с «револьвертом». И в конце, еще более веселя этим обитателей «дна», называет его совсем не по-русски – то Раулем, то Гастоном. Неправдоподобно, такие имена – в России! Ха-ха-ха! А я молчала, мне совсем не было смешно. При чём тут имена?! Мой любимый друг, мой «настоящий жених» носил имя Рудольф.

ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

Едва мы успеваем удобно устроиться в вагоне на подобных самолётным сиденьях как поезд неслышно «отплывает» от платформы, и вот уже чернокожий кондуктор, красиво затянутый в серую униформу, останавливается у наших кресел и мягким низким басом произносит:
– Тикетс, плиз...

В голосе ни намек на личное отношение, никаких эмоций. Только вежливость, чисто служебная. Он на работе. Смотрит спокойно, каждое его движение и слово – соответствие инструкции. Обращаясь ко мне, видит ли он меня вообще – тем зрением, которое предполагает детальное видение, индивидуализацию предмета? Думаю, нет, да и зачем. Я тоже без особых эмоций и размышлений должна сейчас протянуть кондуктору билет для проверки и отрыва соответствующей части, в результате чего у меня в руках останется нужная частичка... и всё. Он безмятежно перейдет к следующему, а я, мгновенно забыв о нем, продолжу глядеть в окно, чтение, жевание, вобщем, счастливое или, во всяком случае, благополучное следование.

Почему-то ничего подобного во мне не происходит. Мгновенная мысль: «Где билет?», выбивает меня из равновесия, и хотя я знаю наверняка (проверяла несколько раз), что билет со мной, странный туман заволакивает сознание, я мгновенно забываю, в каком именно кармане он лежит, и взор мой застилают, казалось, забытые картины.

– Билет ваш где, гражданинка? – мы с мамой пытаемся влезть на высоченную подножку вагона, впереди нас двое солдат с вещмешками, позади – толпа.

– Есть, есть билет, не сомневайтесь, дайте войти.... – и мама тянет меня вверх за руку, которую мне больно перерезает сетка-авоська с завернутым в газету хлебом.

– Войдёте, когда предъявите! – и он загораживает дорогу зеленым, намотанным на палку сигнальным флажком. Его рука уже тянется схватить меня за шиворот.

Мама передвигает сумку, висящую на плече, поближе к животу, опускает рядом с собой на ступеньку другую сумку, кивнув мне: «Посмотри, чтоб не упало». Я кидаясь поддержать сумку, свисающую с узкой ступеньки. Я знаю, там варенье, только бы не разбить!

Пальцы мамы онемели и замерзли, она долго перебирает бумаги в своей сумке, так долго, что за спиной начинаются недовольные крики. Певуче с украинским выговором:

– Тётечка, тай, что ж так долго?

Грубовато простецки:

– Поторапливайся что ли! Зимно!

Я знаю, что мама спешит. Она добрая, она не хочет никого задерживать. Но я знаю также, что если сейчас они еще немного покричат, страдальческое выражение на лице мамы усилится и она, едва сдерживая рыдания, начнет кричать им в ответ зло, истерично.... Наконец билеты в руках кондуктора. Он прокалывает их блестящей «щёлколкой» и мы проходим внутрь пахнущего углем душного вагона. Нас обдувает тепло. Можно развязать шапку, её тонкие спутавшиеся ленточки, затянувшиеся в узлы. Я рву себе ногти, помогаю зубами. Мама впереди меня и мы медленно продвигаемся. Она с двумя сумками, я со своей авоськой, иногда поддерживая и направляя угол громоздкой сумки, в которой варенье. Вокруг люди. Сидят и лежат на полках. У нас билеты, но втиснуться на наши места мы не можем...

– Тикетс, плиз.

Я смотрю на него и начинаю открывать поочередно карманы и карманчики моей сумки. Руки у меня дрожат.

– Прекрати панику, – резко начинает мой сын. – Ты взяла билеты?

Я молчу. Во всяком случае, спрашивать об этом надо было при выходе из дому. Синяя обложка билетов наконец-то мелькает в одном из отделений сумки, и я протягиваю их кондуктору. Он протыкает их специальной «щёлколкой», что-то отрывая. Надо же! Похоже, с тех пор ничего не изменилось. Потом он благодарит и отходит к следующим. Там какая-то проблема. Он что-то долго и терпеливо объясняет...

– А где посадочный талон? – кричит маме в лицо на ветру у вагона простуженным голосом проводница. Это уже другая поездка и я постарше. Мне лет 10. Мы едем в Сибирь к брату мамы. Он болен, одинок. Мы едем забрать его к нам домой из больницы. У мамы чемодан, у меня сумка. В чемодане – продукты, они должны поддержать дядю. Там солёное сало, копченая рыба, колбаса. Там гречка и сгущённое молоко. Тонкие ломтики этих вкусностей мама отрезала и положила к нам в сумку на чёрный хлеб. Сгущенного молока в нашей сумке нет. Но это ничего, у нас морс в молочной бутылке. Это тоже вкусно. Запивать. А стаканы даст кондуктор.

– Какой посадочный талон?

– Детский!

– Детский? Я не знаю.... То есть мне так дали...

– Не могли вам так дать! Должен быть вот такой же вместе с детским билетом. – И она вертит перед маминими глазами маленькой длинненькой картонкой с красными и черными буквами.

– Как же это?! – мама шарит в сумке. Достает расческу, варежки...

Неужели нас не посадят? Мама что-то шепчет кондукторше, та недовольно трясет головой, мама говорит что-то в ответ. Я приваливаюсь к ступеньке и чувствую, что засыпаю. Потом, уже в вагоне, мама лезет в сумку с нашими бутербродами, вынимает их и куда-то уносит. Мы пьем морс, заедая крутыми яйцами без хлеба.

Потом мне долго снится, что мы едем в поезде, и когда я просыпаюсь утром, мы тоже едем и едем ещё ночь и часть следующего дня. А когда выходим из поезда и находим больницу, выясняется, что дядю уже похоронили позавчера и мы идём в его пустую квартиру.

Нас трясет от холода, и мама разжигает печку. А потом мы открываем чемодан.

Мы пьем горячий чай с хлебом, солёным салом и ломтиками балыка, который наш папа выменял на базаре за свою лётную куртку, и обе плачем, каждая о своём. Я главным образом потому, что мне больно жевать из за качающегося молочного зуба.

– Прекрати истерику! – говорит мой сын свистящим шёпотом. – Совсем уже...

И я замечаю, что действительно плачу.